

Долго не мог я решиться напечатать этот рассказ, ибо и сам сознаю, что без живых интонаций, рассчитанных на устную речь, он по-блек, онемел. Дело не только в том, ЧТО было сказано, но и КАК. Это КАК не менее важно — интонационные краски открывают далекие перспективы смысла, делают речь объемной, убедительной, многозначной. «Показать» Александра Александровича Фадеева на бумаге — поведение его лица, его взгляд, жест, передать его темперамент, темп его речи, дыхание, его голос и паузы я не могу. На бумаге! Но Фадеев этот рассказ слышал. И смеялся: «Не знаю, насколько это похоже по тембру и по манере — сам человек об этом судить не может, — говорил он. — Маршаку, например, кажется, что он у тебя не похож! И, конечно, ты в этом рассказе многое выпустил из того, что было в действительности, а кое-что, наоборот, сгустил. Но если хочешь знать — характер того заседания ты схватил, в общем, верно. И я думаю, что мы тогда поступили правильно!..»

Нет, решаюся!

В КОНЦЕ 1942 года — это был, наверно, декабрь — в Москве, в Союзе писателей СССР, состоялось расширенное заседание секретариата правления с повесткой: «Принем в члены союза».

Собрались в опустевшем кабинете А. А. Фадеева. Богатых туркменских и узбекских ковров с выткаными изображениями Пушкина и Горького, которые украшали комнату в мирные годы, — этих ковров уже не было: их закатали в трубки и отправили далеко, в тыл. Теперь посреди кабинета стояла чугунная печка, из черных железных труб в подвешенные на бечевках жестяные коробки стекали черные капли. Окна затягивали плотные бумажные шторы. Писатели были кто в чем: военные, чином побольше — в волчьих жилетках, среднего звания — в собачьих, помладше, вроде меня, — в кроличьих. «Гражданские» сидели, не раздеваясь, в зимних пальто, которые за время войны потеряли свою новомодность и имели какой-то отчасти подержанный вид. Все похудели. Но разговоры шли оживленные, настроение было приподнято-деловое.

Пока рассказывались, Фадеев просматривал и обдумывал бумаги. Окончив, предложил приступить. Липо его приняло сосредоточенно-строгое выражение.

— Товарищи, — сказал он. — Полтора года идет Великая Отечественная война. За это время мы потеряли третью часть нашего писательского состава. Сегодня мы собрались, чтобы впервые пополнить эту жестокую убыль в наших рядах... За время войны выросли новые кадры советской литературы — поэты, прозаики, очеркисты, которые работают в армейских и фронтовых газетах и на флотах, сражаясь не только пером, но, когда требует обстановка, бьются с оружием, не страшась смерти. Многие из них еще не члены союза. Я думаю, что сегодня мы единодушно одобрим эти кандидатуры. Но тут есть несколько анкет писателей старшего поколения — не членов союза, которые не воюют на фронте, но нужны нашей литературе. Поэтому, если нет возражений, я предлагаю разобрать эти заявления вначале... Анкета Бориса Глебовича Успенского, которого я лично рекомендовал бы принять в члены союза. Это сын замечательного писателя-демократа Глеба Успенского, глубокий знаток творчества своего отца...

Асеев Николай Николаевич тенорово воскликнул: — Саша, а что он написал сам?

— Коля, — отвечал Фадеев, и в интонации его был слышен упрек. — Ты же сам знаешь, что он ничего не написал. Но дело в том, что мы до войны не успели издать полное собрание сочинений и писем Глеба Успенского, у него чрезвычайно тяжелый почерк, и многие его сочинения содержат зашифрованный смысл, который способен

понять только тот, кто был свидетелем создания этих вещей. Если мы потеряем Бориса Глебовича, мы не сможем после войны по-настоящему издать произведения его отца. Поэтому, Коля, сегодня принять в Союз писателей сына Успенского — это в известной мере все равно, что принять самого Глеба Успенского.

Радостно улыбнулся тому, что сказал, и тому, что собрался сказать, и добавил:

— К тому же ты знаешь, Коля, Борис Глебович — человек интеллигентный и много не съест!

Все засмеялись, проголосовали. Б. Г. Успенского в члены союза приняли.

— Да. И он давно уже ничего не пишет и, вероятно, уже ничего не сможет дать нашей литературе?!

— По-моему, — вставил я, — он очень старый человек и, наверное, просто уже не может писать...

Фадеев взглянул в анкету:

— Простите, товарищи, это виноват я. Я не обратил внимания на то, что это очень древний старик, рождения 1868 года!.. Как жаль, Ираклий, что ты ничего больше не можешь сказать о нем. В какие годы издавался его «Новый путь»?

— По-моему, в девятьсот четвертом и в девятьсот третьем...

Давай исключим его в виде принятия.

Еще несколько кандидатур обсудили. А потом принимали тех, кто находился в действующей армии. И прошел этот прием очень единодушно, доброжелательно, благородно...

ЧЕРЕЗ несколько дней захожу я в столовую Союза писателей, выбрал свободный столик — подходил собенный седенький старичок с маленькой бородашкой, белые усики... С хозяйственным мешочком в руке.

— Скажите, пожалуйста, — спрашивает, — тут сами ходят получать суп или тут подают?

— Подают, — отвечаю. — И место это свободно.

— Можно это?

— Да, конечно!

— Тогда позвольте мне познакомиться... Перцов. Петр Петрович.

— Боже мой! Петр Петрович!.. Как я рад! — говорю. — Я мечтал познакомиться с вами!

— Как! — он смотрел на меня с удивленной улыбкой. — И вы? Вы обо мне тоже знаете? Мне казалось — меня все забыли. И вот, говорят, на секретариате какой-то военный фронтовик меня поддержал... Оказывается, знает меня... Вы — второй!

Я не стал объяснять ему, что я и второй, и первый...

Мы довольно долго обеды. Потом я вызвался его проводить. Вышли на темную, заваленную сугробами улицу. Перцов со своим мешочком семян в валенках и все пощаживался. Держа его выше локтя, не давая ему опрокинуться навзничь, я отвел его на Красную Пресню.

А потом уехал на фронт и больше его не встречал. Спросил о нем однажды в отделе кадров, после войны... Умер.

А НЕДАВНО, прочитав работу историка Н. Я. Эйдельмана, я узнал факты, которые кидают на облик Петра Петровича новый и неожиданный свет.

Жил во времена Пушкина стихотворец Эраст Перцов, «решительный талант» которого Пушкин очень хвалил. Известно, что это был человек, близкий к Пушкину. Так пишет о нем современник. Известно, что Пушкин был знаком с семьей Перцовых и был в его доме в Казани. Пушкин знал стихотворные «шалости» Эраста Перцова. Из этих «шалостей» политического характера до нас дошли только две. Кроме того, мне известно стихотворение Перцова, посвященное Пушкину. В нем около тридцати строк, и выражает оно восторг перед величием Пушкина. И есть в нем — в конце — обращенные к Пушкину чудесные строки:

Как часто юные поэты,
Плетя на твой узор цветы,
Кончат рифмами твоими,
И рады б знать твои грехи,
Чтоб исповедаться ими.

Вторично имя Эраста Перцова всплыло в 1860 году, когда выяснилось, что он и брат его — Владимир Петрович Перцов, видный петербургский чиновник, были яростными врагами самодержавия и от важными корреспондентами Герцена, которого снабжали материалами для его «Колокола». Петр Петрович Перцов — их племянник.

Иной раз кажется, что от пушкинской эпохи нас отделяют горы, громада лет. И вдруг видишь, что это — необычайно близко: Пушкин пожимал руку Перцову-дяде, а мы — Перцову-племяннику. И нить от Пушкина, от журнала его «Современник» к Союзу писателей, к Фадееву и Асееву оказывается очень короткой. Короче, чем кажется. А ведь это тоже пушкинские традиции, о чем, кстати, так любил говорить Фадеев. Только та из традиций, о которой мы вспоминаем не часто. И тоже ведь — эстафета общественной мысли и духовной культуры...

Впрочем, Пушкин не может быть далеко. Пушкин всегда близко к нам. Удивительно близко. В сердце.

Ираклий АНДРОНИКОВ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПЕРЦОВУ ПЕТРУ

ПЕТРОВИЧУ

— Тут есть заявление Перцова Петра Петровича, — продолжал Фадеев, отложив бумаги Успенского. — Но рекомендаций у него нет, сочинений его никто не читал, изучить его труды, которых, кстати сказать, он не представил в комиссию, в настоящее время у нас не было никакой возможности. При этом он давно ничего не пишет. Последняя его книжка вышла в двадцать шестом году, а сейчас — сорок второй. Очевидно, нам следует воздержаться от приема Петра Петровича Перцова, — глаза его снова заиграли от смеха, — тем более, что один Перцов у нас в Союзе писателей уже есть!

Все захохотали, Фадеев всех громче своим произвольным фальцетно-матовым смехом.

— Кто хочет высказаться по кандидатуре Петра Петровича? — спросил он, когда умолк смех.

Прокашлявшись от волнения, ибо к работе секретариата никакого отношения никогда не имел и намерение было дерзко, я все же решился:

— Александр Александрович! Можно? Я Перцова читал! Петра Петровича.

— Товарищи! — воскликнул Фадеев. — Заговорили немые. Ираклий! Ты же еще никогда не брал слова! Скажи, что ты про него знаешь?

Тут я выложил все, что помнил, главным образом по каталогу Публичной библиотеки, где одно время служил:

— Он был редактором журнала «Новый путь»... Это критик, поэт... Хороший знакомый Блока. В советское время у него была книжка про Третьяковскую галерею и мемуары...

— Да-да-да-да... — Фадеев поощрял меня, напряженно моргая. — А что ты читал из его сочинений?

— Просматривал когда-то про Третьяковскую галерею.

— И что ты можешь сказать?

— То есть как что?.. Это книжка о Третьяковской галерее, о картинах, которые там висят...

— Ты смеешься над нами, Ираклий! Неужели мы сами не в состоянии понять, что в книге о Третьяковской галерее описывается Третьяковская галерея. Это же не рекомендация!

— Подробностей я просто сейчас не помню и книжку видел очень давно...

— Скажи скорее, что этот Перцов не участвовал в сборнике «Вехи»!

Это опасение рассеяли несколько голосов.

— Да, это я сам помню...

— Фадеев подумал. — Жаль, что мы не знаем, с каких позиций написана книга о Третьяковке. Хотя, с другой стороны, нетрудно предположить, что картины Третьяковской галереи не дают повода для разговора об антинародном искусстве, а книга вышла в двадцать шестом году, и вряд ли он мог в ней выругать Третьяковскую галерею.

— Надо отложить это дело, — посоветовал кто-то из членов секретариата.

Фадеев снова подумал.

— Нет, — сказал он, — давайте решать сейчас. Рядом, так сказать, доживает свой век старый писатель, отдавший все силы делу литературы. Мы здесь будем изучать, что он там написал, а его за это время снесут на кладбище!.. Я думаю, что нам следует его принять!

Приняли.

Приняли еще несколько человек.

— Передо мной, — сказал Фадеев, — заявление крупнейшего советского библиографа Игнатия Владиславовича Владиславлева, которого я лично очень уважаю. Но, к сожалению, я против его приема в Союз писателей. Мы можем принимать людей, которые пишут. А библиографы регистрируют то, что написали другие. И если мы примем Владиславлева, мы тем самым откроем дорогу всем библиографам. Этого нам не позволяет устав.

Лебедев-Кумач возразил.

— Александр Александрович! — сочный басок его прозвучал очень внушительно. — Давайте Владиславлева все-таки примем. Я согласен: он ничего не написал, но ведь и из нас никто без него ничего не написал.

Фадеев выпрямился. — Василий Иванович, — сказал он торжественным голосом, обратив на него непроницаемый взгляд. — Если вы что-то написали при помощи Владиславлева, так вас за это в Союз писателей уже приняли!

Асеев все-таки возразил: — Жалко, Саша! Давай примем его в виде исключения!

— Нет, Коля! — отвечал Фадеев полусутоливо. —